

# МИХАИЛ ЭПШТЕЙН

## ПУТЬ АНГЕЛЬСКОЙ ПЛОТИ

В последнее время ангелы все чаще оставляют следы в нашем мире, хотя эти следы никуда не ведут. Ангелы, в современном представлении, — это заблудившиеся посредники между небом и землей, — вестники без вести, которые ничего не сообщают о Посларшем их, а только пытаются скрыть свою потерянность и одиночество за хлопотливым участием в земных делах. Таковы, например, ангелы в знаменитом фильме немецкого режиссера Вима Вендерса «Крылья желания», получившем золотой приз 40-го Каннского фестиваля. Но хотя ангелы — прозрачные, утомленные, сиротливые, с помятыми или даже сломанными крыльями — часто появляются в современных произведениях искусства, редко можно познакомиться с обратной перспективой: как воспринимается мир этими существами не от мира сего? Из чего наш мир состоит на ангельский взгляд и ощущь? Из тех же ли самых ощущений тяжести, упругости, света и мрака — или ангел в земном мире чувствует себя примерно так, как если бы человек вдруг превратился в земляного червя и нежностью своего гибкого тела стал ощущать давление черных, склизких, глыбистых масс на каждом извилине своего пути?

Зададимся еще более сложным вопросом: может ли ангел писать стихи? Разумеется, нет, поскольку, во-первых, ангелы лишены авторского начала — оно всецело принадлежит Богу, и ангелы, по смыслу своего вестничества, в лучшем случае могут лишь «цитировать» Его; во-вторых, они парят в поэтически безусловной стихии — света, пения, ликования, — которая не нуждается в условных знаках для своего выражения. Но если ангел уже достаточно приобщился к земной жизни, то у него порой может вырваться и некий вздох, обращенный то ли вспять, к покинутому небу, то ли к еще предстоящим ему человеческим испытаниям. Если ангел начинает писать стихи, значит, ему вполне удался жалкий подвиг очеловечивания; но, слишком отяжеляя и заземляя этот новый для него опыт, он поневоле выдает свою ангельскую природу.

Недавно мне довелось прочитать стихи, автор которых показался мне не совсем натуральным, в смысле своей заявки на человеческое происхождение. Да и в Петербурге, где он якобы живет и о котором пишет, никто о нем ничего не слышал, даже в той литературной среде, где все знают всех, не только напечатавших, но хотя бы даже только пробормотавших одно четверостишие. У этого автора даже фамилии нет настоящей, а только два имени, Григорий и Марк, которые намекают на некий обряд, вроде монашеского пострижения, только наоборот.

«И какого же юродивого не клучит Гришней», — воскликнул как-то поэт Арсений Тарковский. Григорий Марк одновременно и юродивый, и евангелист, т.е. как бы благовествует и сам играет роль блаженного. Но юродивый среди ангелов — это такой, которому хочется не воспарить, а наоборот, плотнее осесть в скопице земных вещей, чуждых его воздушной природе. Оттого все предстает ему многоократно уплотненным и утесненным — корявым, грубым, с грязноватым оттенком, хамоватым на ощущь.

---

Михаил Наумович Эпштейн (род. в 1950 г.) — критик, эссеист, автор книг «Парадоксы новизны» (1988), «Природа, мир, тайник Вселенной» (1990) и др. Жибет в США.

© Михаил Эпштейн, 1997.

Вернусь иностранцем к себе в коммуналку.  
Все то же кирпичное, черное мясо  
Лоснится в обглоданных временем балках,  
И лампочка светит в углу безучастно.

И где-то у вешалки, в грязной прихожей,  
Вверху, в отороченных пылью обоях,  
Свисающих заживо содранной кожей.  
Я в треснувшем зеркале встречаюсь с собою...

Бот она, маленькая энциклопедия небесного ренегатства. Заметьте, что для восприятия дома как «кирпичного черного мяса», а обоев — как «заживо содранной кожи» нужно самому быть совсем уже лишенным и кожи и мяса, так, клубящимся паром или воздушным веянием. Человек не воспринимает подобную вещность так отрешенно и трудно, она все-таки сродна его плоти. Заметьте, как лирический субъект этого громоздкого стихотворения путается в пространственных измерениях — «у вешалки» для него значит «где-то»; свидание с самим собой назначается «вверху», хотя речь идет о настенном зеркале. Можно было бы счесть это за недостаток стиля, непрописанность места и времени, если бы эта размытость не была формой ясности, выдавая вполне однозначно ангельскую природу того субъекта, которому даже «лампочка светит в углу безучастно». А как еще она обязана светить — сочувственно? изливая всеблагие лучи? как вечное солнце любви? Да и вряд ли кто из людей, созерцая обыкновенные балки, отметит, что они обглоданы временем — для этого нужно слишком привыкнуть к другой точке отсчета, от «вечности». Вот за такими эпитетами, как «безучастный свет» лампочки или балки, «обглоданные временем», тотчас и узнается, откуда попал в наше пространство этот метафизически подозрительный субъект.

Даже воздух, эту вроде бы родную для себя стихию, иностраннее существо Григорий Марк ощущает как некую ранку, которая жжется, болит, припухает, словно некая порча и уязвление его начальной субстанции, состоящей из чистого эфира. А уж собственные губы, этот нежнейший и прозрачнейший, любовью запечатленный покров человеческого естества, он ощущает вообще как коросту.

Ранку воздуха, йодом прижженную,  
Взглядом бережно перебинтуй.  
И белесую плоть воспаленную  
Всей коростою губ поцелуй.

Исцеление будет даровано,  
Так что кожей почувствуешь вдруг:  
Жизнь твоя в этот город вмурвана,  
В Петербург — Ленинград — Петербург.

Не удивительно, что этот ангел решил воплотиться в одном из самых прозрачных мест на земле. Вообще Петербург, можно сказать, взлетная и посадочная полоса для множества ангельских и соответственно демонских десантов, облюбовавших себе место наилегчайшего проникновения в земной мир и незаметного смешения с ним. В силу исторических обстоятельств и географического положения, Петербург — самый сложный, наименее охраняемый участок российско-потусторонней границы. Неизвестно, существует ли этот город иначе, как во сне и фантазии своего основателя Петра, о чём неоднократно напоминали Гоголь, Достоевский, Белый, для которых столица белых ночей была самым «умыщленным» и «отвлеченным» городом на свете.

Но даже Петербург, в своей бесплотности, — слишком плотное место для обитания такого эфирного существа, как наш герой, который постоянно обдирается об его углы и стены, и обдирается не только телом, но и слухом и взглядом. Он живет здесь «как будто в сумерках вечных: почти что вслепую, на ощупь», натыкается руками на «твёрдые острые вещи», опускается «грузно в колючие ребра диванов», ступает по «паркету, поросшему плесенью и мохом», пробирается по вагону, «набитому туто телами», его голова плавает в уличном потоке «набухшую черною щепкой», по его спине стекает «пыльный пот», и все его щуплое тело пропитано «приторным запахом смерти».

Вообще мир в этом вывернутом наизнанку благовестовании весь искорежен,

смраден, удушающими смерти, причем без особой художественной нужды и мотивировки. Балки «обглоданы временем» не потому, скажем, что они прогнили, а просто потому что, как вещество, они тленны; «пыльный пот» стекает по спине героя не потому, что он утомился на грязной работе, а просто потому, что телесному существу присуща потеть и покрываться пылью. Отсюда некая абстрактность этих переживаний земного как именно земного, и притом с привкусом грязного, хлюпающего, душного, болотистого — земного в том смысле, в каком человек обречен «в поте лица своего добывать хлеб, покуда не возвратится в землю, из которой взят». Перед нами ангел, вполне конкретно переживающий родовую всеобщность человеческого удела: ходить, а не летать, покрываться пылью и потом, а не струями света, пробираться между телами, а не парить в свободном пространстве. Мир увиден глазами небожителя, которому оказалось почему-то заманчиво вселиться если не в стопудовую купчиху, как черту у Достоевского, то в пожилого сумрачного питерского интеллигента. Он с печальным достоинством носит это безлюбое «тело чужое», которое на глазах у него деревенеет — но зачем, почему? Что побудило эту бесплотную фигуру покинуть мир, где он был больше ко времени и месту, т.е. к начальным условиям вневременности и невместимости? Об этом можно только строить догадки:

...Как будто птенец я и выпал  
На мокрый асфальт из гнезда.

144

Ампутировал прошлое и в инвалидной коляске,  
Громыхая, несусь, в туче пыли средь белых камней.  
Уже нечем дышать, напрочь душу отшибло от тряски.  
Неба синий наждак обдирает всю кожу на мне.

Кто-то из критиков заметил, что у Марка, якобы, религиозная поэзия. Если это и верно, то с точностью наоборот. Религиозность — это направленность отсюда туда, а наш «автор» является оттуда сюда, вживляет себя в плоть этого мира, и потому его поэзия вдвойне материалистическая, упоенно, надсадно, отвратно материалистическая:

Огромные теплые бедра,  
Обтянутые чешуею  
Из липкой мерцающей ткани,  
Плыут, натыкаясь на стулья,  
Сквозь синий клубящийся воздух  
Плыут вереницею бедра...  
  
Плыут говорящие лица,

Плынут говорящие лица,  
Лиловые зубы ликуют  
В ошейниках из ожерелий,  
И твердые вены, взбухая  
Растут в гофрированных щеях,  
Как синие ветви деревьев.

Без этих стихах удивляют не образы, слишком сгущенные, а потому расплывающиеся, но именно ангелическая подоплека этого яростного материализма, который просто задыхается от пружей на него со всех сторон жаждой человеческой плоти.

Для инонатурального духа не только внешний мир, но и собственная плоть, и жалуй, и душа — тоже материя, и оттого он постоянно «встречается сам с собою», как с чем-то внешним и предстоящим себе:

Это тело чужое, в котором  
я хожу уже больше полвека,  
на глазах моих деревнеет.

ИАНУ

Чужими.  
Ты видишь себя  
Лишь глазами  
Чужими.

И даже когда он смотрит на себя в зеркало, он ощущает этот чистый овал, этот сквозящий пролет как рубцы на своей ангельской плоти, оттого и зеркало у него — «треснувшее», чтобы тем материальнее, грубее осязать бесплотный по-

длинник в расходящихся швах отражения. «Я в треснувшем зеркале встретусь с собою...»

Замечательно, что из всех человеческих занятий наибольшее понимание и интерес у этого иночеловека вызывает профессия «гравера» (как и называется первый сборник). Ведь это так небывало и трудно — запечатлеть свой след в материальных вещах. Для ангела — это область столь же увлекательная и непостижимая, как для человека — бессмертие души. Он с удивлением и радостью открывает в себе человеческую способность касания, столь отличную от ангельской способности видения.

Ладонью, ощупью —  
иное знание:  
ты сразу чувствуешь,  
что вещи прочные  
со всеми гранями  
их формы, в сущности,  
для вящей точности  
даны в касаниях.

Вслушайтесь в интонацию этого короткого стихотворения, в это бесподобное по наивности самоуверение, что «вещи прочные» и что «для вящей точности» они даны в касаниях. Ведь это язык существа, впервые открывающего для себя возможность прикосновения, ему вновь то, что известно ребенку, и отсюда этот абстрактный по словарю метафизический лепет на тему касаний вообще — «знание», «вещи», «грани», «формы», «сущность». Да и дорожит наш ангел этой возможностью касания не потому, что ему хочется что-то изменить или улучшить в мире. Он в это не верит и на это не надеется. Ведь и человек вряд ли дерзает изменить запредельный ему мир духовный и лишь надеется стать его частью, запечатлеть себя и остаться. Так и у ангела-гравера цель скромная и по мерке нашей земной укорененности-умудренности почти умилительная: проверить свою совместимость с миром, подтвердить свою принадлежность к нему, обзавестись уликами собственного существования. «Гравировать» на этом языке значит — вписать, врезать, «вмуровать» себя в этот мир, где «небо крошится на спины идущих с работы» и где «гуляет в рваном плащике автор этого стиха».

Читателю этих стихов грустно видеть себя, человека, глазами ангела. Еще более грустное, но и просветляющее зрелище — ангела, который, задав себе почти непосильную физическую и моральную работу, пытается стать человеком.